Сцена и жизнь

Автор:
Николай Гейнце

Сцена и жизнь

Николай Эдуардович Гейнце

«Владимир Николаевич Бежецкий проснулся, против своего обыкновения, очень рано и притом в самом мрачном расположении духа. Быстро вскочив с постели, он накинул свой шелковый китайский халат и вышел в кабинет, роскошно отделанный в восточном вкусе.

Подошедши к одному из окон, он даже раздвинул тяжелые занавески. Так, показалось ему, мало давали света громадные окна кабинета, выходившие на одну из лучших улиц Петербурга. Раннее серое декабрьское утро на самом деле не приветливо и мрачно смотрелось в комнату и тускло освещало огромный письменный стол, заваленный массою книг, бумаг и тетрадей, большой турецкий диван, покрытый шалями, и всю остальную, манящую к покою, к кайфу обстановку кабинета…»

Николай Гейнце

Сцена и жизнь

Бедная, как она мало жила,

Как она много любила!

(Н. Некрасов.)

Piff, paffi tron la la! vive la rigolade!

(Из известной шансонетки).

I. Красавец-мужчина

Владимир Николаевич Бежецкий проснулся, против своего обыкновения, очень рано и притом в самом мрачном расположении духа. Быстро вскочив с постели, он накинул свой шелковый китайский халат и вышел в кабинет, роскошно отделанный в восточном вкусе.

Подошедши к одному из окон, он даже раздвинул тяжелые занавески. Так, показалось ему, мало давали света громадные окна кабинета, выходившие на одну из лучших улиц Петербурга. Раннее серое декабрьское утро на самом деле не приветливо и мрачно смотрелось в комнату и тускло освещало огромный письменный стол, заваленный массою книг, бумаг и тетрадей, большой турецкий диван, покрытый шалями, и всю остальную, манящую к покою, к кайфу обстановку кабинета.

Владимир Николаевич стал медленно ходить взад и вперед, напевая сквозь зубы какой-то грустный мотив, что служило несомненным признаком его крайней озабоченности и было, надо сказать, редким явлением, так как Бежецкий любил напевать большей частью из опереток, да и самую жизнь считал одним сплошным опереточным мотивом.

Он был в полном смысле bon vivant, прожигатель жизни, выбравший себе для нее девизом: день и ночь, сутки прочь! Несмотря на стукнувшие ему уже сорок лет, Владимир Николаевич был молод душою, ежеминутно увлекался и чувствовал себя положительно не по себе, если не был в данную минуту кем-либо очарован. Впрочем, и по наружности он казался моложе своих лет, время – этот, по выражению поэта, злой хищник, – несмотря на бурно проведенную юность и на постоянное настоящее прожигание жизни, как бы жалело, положить свою печать на это красивое, выразительное лицо, украсить сединою эти черные, шелковистые кудри и выхоленные усы и баки и заставить потускнеть эти большие блестящие глаза.

Владимир Николаевич был красавец мужчина в полном смысле этого слова. Высокий, стройный, изящный, всегда веселый, обладающий неисчерпаемым остроумием, он умел нравится всем, особенно женщинам и был их кумиром. Меняя свои привязанности, как перчатки, он этим не уменьшал, а напротив, увеличивал число своих поклонниц.

Занимая видное положение председателя «общества поощрения искусств», всегда окруженный артистками и жаждущими во что бы то ни стало ими сделаться, он катался, что называется, как сыр в масле.

С этой стороны он был совершенно доволен своею должностью, оплачиваемой к тому же весьма солидным содержанием, но, увы, была и другая сторона медали – это лежавшая на Владимире Николаевиче хозяйственная часть.

Тут всегда выходили «недоразумения». На общественных деньгах не было особой отметки, и Бежецкий как-то невольно смешивал их со своими и при ежегодных составлении отчета и поверке кассы был в затруднении.

Никогда, однако, это затруднение не достигало такой непреодолимости, как в этот раз.

Этим и объясняется мрачное настроение Владимира Николаевича в описываемое нами утро.

Бежецкий все продолжал ходить из угла в угол. Он даже не заметил, как в кабинет вошел его лакей Аким, угрюмый старик с красным носом, красноречиво говорившим о неустанном поклонении его владельца богу Бахусу, и остановился у притолоки двери, противоположной той, которая вела в спальню.

Аким своими воспаленными хитрыми, вечно слезящимися глазами молча следил за расхаживавшим по кабинету барином, и тонкая усмешка, изредка появлявшаяся на его губах, ясно доказывала, что он хорошо знает причину дурного расположения духа своего хозяина.

Наконец Аким тихо кашлянул.

Владимир Николаевич вздрогнул, остановился, обернулся в его сторону, несколько секунд посмотрел на него вопросительно и затем снова стал продолжать свою прогулку.

– Так как же таперича прикажете? – медленно начал тот. – Нешто к жиду сходить?.. Я намеднись был у него, чай пил, билетец в театр ему дал и с женой и с дочерью. Может, уговорю. Я уж ему и то тогды-то закинул. Знал, что понадобится, пошлете. Барин, мол, в скорости после тетушки большими деньгами наследует, потому тетушка Богу душу отдала.

Бежецкий остановился и удивленно посмотрел на Акима.

– Чего вы смотрите, это я для шику сказал. Уваженья больше. Не пронюхает, что неправда – сойдет! – серьезно заметил старик.

Владимир Николаевич нервно расхохотался.

– А может таперича оно и подействует, денег-то и даст. Так прикажете сходить? – невозмутимо продолжал Аким.

– Ну, ступай, только не назюзюкайся, – заметил Бежецкий, все еще смеясь и опускаясь на диван.

– Вот вы всегда так-то! Эх, барин!.. Обидеть завсегда норовите, а я ведь все для вас же лажу. Вас жалеючи, – обиделся тот.

– Ну как же не так. Для меня и напиваешься, квазимодо.

– Вестимо, для вас! Разве без того-то можно. За рюмочкой-то ладнее, да дружнее поразговоришься, да поразмаслишься. Человек добрее бывает. Ну, и так, и этак его возьмешь, он и раскошелится. Кабы не это то – никогда бы я вам ничего не добыл. Вот ведь таперича, в этом самом месяце, тысячу рублев у нарышкинского повара прихватили да пятьсот рублев у дьячка. А все я компанию-то вожу. Поневоле выпьешь. Ведь что я от дьячковой-то жены перетерпел за это. Страсть сказать. Дьячок-то нализался, так она чуть с лестницы меня не спустила. Так ошарашила, ей Богу! Я это взял да в сторону, да будто пьяненький…

– Будто! – передразнил его Владимир Николаевич. – Наверное, шельма, в самом деле был пьян, лыка не вязал.

– Разорвись моя утроба, не был пьян. Ей-ей! Так она меня и ну дубасить. Бьет, а я все молчу, кряхчу только. Бей, мол, матушка, бей, заплатишь мне за это. Ведь шкура-то не купленная. Как проспался дьячок, я к нему и шасть. Вишь, мол, фонари-то – это твоя жена мне их под глазами засветила. Давай барину взаймы, а то к мировому. А у них священник молодой, строжайший – узнает, что пьет дьячек – беда ему. Дьячок мой туда сюда, взмолился! Не тут-то было! Давай деньги, не то террах тебе! Дьячок, видит, капут, неча делать, раскошелился и дал, вот мы и помирились. Так вот из-за вас какие муки принимаю. Инда таперича спина болит. Уважила она меня тогда на славу. Любя вас претерпел.

Бежецкий перестал смеяться и задумчиво сидел на диване, облокотившись на одну из его подушек. Он, казалось, и не слыхал последнего рассказа своего лакея.

В передней раздался звонок.

– Кого там еще несет спозаранку?! – проворчал Аким и вышел из кабинета.

II. Услужливый слуга

Владимир Николаевич остался один.

– Просто не знаю, что делать? – начал думать он вслух. – Из ума нейдет. Покою себе не нахожу… Жалованье за Крюковскую получил, за два месяца пятьсот рублей, расписался за нее, а деньги все вышли. Не понимаю, куда? Черт меня знает, как это случилось, но только все израсходовались. Отдать ей нечем, она третий раз пишет записки. Приказываю сказать, что очень болен, принять не могу и сам не выхожу. Наверно, от нее опять посол. После моего ухаживанья за ней, ей странно должно показаться, что обо мне ни слуху, ни духу целых три дня. Нестерпимое состояние… Точно Дамоклов меч висит надо мной… А кто виноват? Сам.

Бежецкий вздохнул.

– Теперь и мучайся. Проклятые деньги! Как надоедает вертеться с рубля на рубль, перебиваться кое-как. Постылая жизнь! Да еще в кассе тоже не все, через несколько дней и там понадобятся. Просто хоть не живи. А занять теперь трудно стало, ох, как трудно; все прижимаются, у кого деньги есть. Да и Бог знает у кого они есть? Ни у кого нет. Прежде у всех были, а нынче ни у кого. Удивительно, право, куда они девались.

Владимир Николаевич встал с дивана и снова зашагал по кабинету.

– И хоть бы узнать, – начал он снова после некоторого молчания, – где они лежат, взял-то бы уж с умом бы.

– Да, – закончил он свои размышления с новым глубоким вздохом, дело дрянь, если Аким не достанет. Этот жидюга Шмель тоже обещал, да наверно надует, протобестия.

– Господин Шмель пришел, – доложил вошедший Аким, ставя на письменный стол поднос с стаканом чаю и несколькими бутербродами на тарелке.

– Вот легок на помине. Проси!

– Я нонича вам к чаю-то бутерброды приготовил. Больно вы мало кушать стали.

– Откуда это такой стакан с серебряной подстановкой? У меня прежде не было, – уставился Бежецкий на Акима, сев за стол и взяв в руки заинтересовавший его стакан.

– Суприс вам делаю! – лукаво подмигнул ему Аким. – Прежде не было, а теперь есть, – торжественно заключил он.

– Да откуда же ты взял? У тебя ведь денег не было, сам говорил.

– А вам какое дело? Еще откуда взял. Уж разве сказать? Спроворил у Кириловской барыни, как вы к ней посылали, – таинственно прошептал Аким.

– Ах, ты болван! Разве можно это делать? Ведь ты меня срамишь. Вот скандал! Воровать начал. Отнеси сейчас назад! – крикнул Бежецкий.

– Что за беда, что взял. Никакого сраму нету, никто не знает. Что ж, что взял, ведь у нас же воруют. Сколько вещей разворовали. Я на отместку, на убылое место. У нас таскают, а мы что за святые, что не смей. Другие могут, а мы нет? Не из дому тащу, а в дом.

– Да разве мне прилично пить из ворованного стакана. Пошел, идиотская харя, сейчас отнеси, отдай. Quelle canalle. Как ты осмелился мне подать, старый негодяй!

– Хотел суприс – угодить вам, а вы ругаться! Дурак, что сказал, право, дурак. Никогда от вас благодарности не дождешься, как ни старайся. Об вас же заботился.

В голосе Акима слышалось искреннее огорчение.

– Он заботился! – еще более возвысил голос Владимир Николаевич. Убирайся, дурак, вон! Без разговору сегодня же изволь отдать. Слышишь! Иначе я тебя вон выгоню.

Он сунул поднос с стаканом в руки подошедшего Акима.

– А где же Шмель?

– Там дожидается… суровым, недовольным тоном отвечал тот.

– Так что же ты его там держишь! Разве это вежливо? Проси сейчас сюда!

– Не велика птица, подождет и там! – ворчал, уходя, себе под нос Аким.

– Какова скотина! – вскочил с кресла Бежецкий. – Этакая скотина и разбирает еще, кто какая птица! Merci du peu. Так зазнался, животное, не знаю просто, что с ним делать. Вон выгнать надо.

– Да неловко; знает все мои дела. Болтать будет! – решил он после некоторого раздумья.

В дверях кабинета, между тем, появился дожидавшийся в приемной Борис Александрович Шмель.

III. Секретарь-референт

Вошедший был далеко не старый, юркий человечек.

Его физиономия и вся фигура не оставляли ни малейшего сомнения в его семитическом происхождении, хотя Борис Александрович упорно отрицал это обстоятельство.

Он был членом «общества поощрения искусств» и, кроме того, состоял секретарем при Владимире Николаевиче, исполняя и обязанности эконома.

– Здравствуйте, Владимир Николаевич! Как изволите поживать? Ваше драгоценное здоровье? – почтительными мелкими шажками подкатился он к Бежецкому.

– Здравствуйте, Шмель. Спасибо, здоровье мое ничего, только вот в кармане чахотка. Никак не могу найти доктора, который бы излечил эту проклятую болезнь. Не окажетесь ли вы им, мой милейший? – со смехом отвечал тот.

– Несмотря на все мое желание угодить вам, не мог ничего сделать, Владимир Николаевич! Такая досада! – сделал Шмель печальную физиономию. – Да паллиативные средства и не помогут, – многозначительно добавил он.

– Одно есть у меня средство, заветное средство против вашей чахотки, – продолжал он, помолчав, и усаживаясь по приглашению Бежецкого рядом с ним на диван. – То вот радикально бы могло излечить. Я его в других случаях, сходных с вашим, применял – помогало!

– Так говорите скорей, какое?

– Надо бы… вам жениться. У меня невеста есть для вас на примете. Такая, просто чудо. Лучше и сами для себя не выберете. Уж я насчет этого знаток, – самодовольно улыбнулся Шмель. – Плохую не рекомендую. Моей рекомендацией все и всегда оставались довольны, потому что я на это зорок. Как увидите, так и влюбитесь, а деньжищ – полмиллиона! Ну, конечно, между нами условьице сделаем. Мне тысяченок десять тоже заработать дадите. Уж как бы зажили славно.

– Это значит продать себя за деньги!? – вспыхнул Владимир Николаевич. – Нет, уж извините, я на это не пойду. Мне моя свобода дороже всего. Переносить бабьи слезы, сцены ревности, нянчиться с женой весь век! Да ни за что на свете. Спасибо, мне и так от бабья достается. А тут на законном-то основании. Да через неделю сбежишь.

Бежецкий уже успокоился, в его последних словах слышался задушевный смех.

– Ну, как угодно-с… Как вам угодно, – оторопел Шмель от тирады Владимира Николаевича. – Я только осмелился посоветовать, думаю, за то всегда деньги будут. А это вам нужно; вы барин, привыкли хорошо пожить, без денег-то и трудно.

– Черт с ними и с деньгами. Еще какая попадется, – засмеялся Бежецкий. – Пожалуй, и сбежать не даст, запрет либо прибьет, как жена моего Акима.

Шмель захихикал.

– Однако скверно, – заметил Владимир Николаевич после некоторого раздумья, – что денег не достали. Некрасивый пейзаж может выйти! Совсем гадость… Что же нам теперь делать?

Борис Александрович в ответ только безнадежно развел руками.

– Вот что, Шмель, – нерешительно начал Бежецкий, – помогите мне составить отчеты… Я сам к этому не привык. Надо будет недостающую сумму порассовать кое-куда. Вы на это, кажется, мастер.

– С удовольствием! – вскочил с дивана Борис Александрович. – Это с удовольствием, я на это, вы правду сказали, мастер. Умею дела делать. И не в таких переделках бывал, да слава Богу, сух из воды выходил.

В голосе его слышалось самодовольство.

– Умом не обижен от судьбы, – докторальным тоном продолжал он, – вот мое достоинство; да и опытность есть, видел, как дела делаются. Пожалуйте-ка сюда… Мы сейчас…

Шмель подошел к письменному столу, взял книги и начал их рассматривать.

– Тут помараем, да почистим, да поскоблим, а здесь запишем, лишь бы чисто было.

Владимир Николаевич присел к письменному столу и взял книгу, которую Шмель держал в руках.

– Вы сядьте, чего вы стоите, – обратился он к нему.

Борис Александрович уселся рядом.

– Вот как тут сделать? – указал Бежецкий на одно место в кассе. – Au nom de Dieu, как с этим быть? Что сделать с этим расходом? Не придумаю, куда деньги показать, sacre nom du Dueu!

Владимир Николаевич усиленно тер себе лоб.

– Так вы, Владимир Николаевич, отчего в другую рубрику не внесете? Я вот всегда так делаю. В одной нельзя больше показать, так я в другую страничку и влеплю. Напишите, что керосину больше вышло, да еще кой-чего прибавьте. Вот и выйдет так. Наши-то бессчетные дураки все равно не досчитаются. Деньги наши же – общественные, значит, – мы ими можем распоряжаться. Это надо быть идиотом, если самому не пользоваться, а другим давать брать. Рассудите хорошенько, все равно кто-нибудь да воспользуется ими: не вы, так другой председатель. Смотря так с философской точки зрения, на это дело, пускай лучше я буду для этого умен, чем кто-нибудь другой. Зачем мимо рта проносить

да зевать. Я, по крайней мере, не желаю быть вороной.

Шмель расхохотался.

– Философски рассуждая, оно конечно так, – согласился Бежецкий. – Только боюсь, как бы не придрались к этому на общем собрании. Ведь наши индюки иногда сидят, думают, думают, да и отольют какую-нибудь пулю. Вон Величковскому давно хочется в председатели на мое место попасть. Возьмет да и брякнет, а другие за ним, у нас в этом отношении ведь совсем баранье стадо.

Он с усилием деланно улыбнулся.

– Полноте, что вы, – замахал руками Шмель. – С вашим-то уменьем очаровывать людей и обращаться с ними, да и я разве допущу, дам вас в обиду. Я такой гвалт и содом подыму, что сам черт ничего не разберет. Уж в этом отношении можете положиться на меня. Я умею зубы заговаривать. Дам я вас им сожрать, как же! Да ни за что на свете. И наконец, все так делают, что же тут такого. Вы за моей спиной, как за каменной стеной; все общество, если понадобится, вверх дном переверну. Помилуйте, я с семьей при вас только свет увидал, вздохнул. Всем вам обязан. Ведь если вы вон, значит, и я вон. Новый председатель не оставит меня экономом. Что же мне по миру с семьей идти? Чем кормить? Голодать, что ли, прикажете? Раз вы при обществе, то и мы сыты.

Во время этой горячей тирады Бориса Александровича в передней раздался сильный звонок.

– Крюковская, Надежда Александровна, – таинственно доложил вошедший Аким. – Очень вас желает повидать. Так я сказал, что вы почиваете. Нездоровы-де, потому вы не велели принимать никого. Она не уходит, дожидать просит.

– Зачем ты сказал, болван, что я дома? – с досадой крикнул Владимир Николаевич.

– Да как же в такую пору-то. Рань ведь! – отпарировал Аким.

– Эх, черт возьми! – вскочил с кресла Бежецкий.

– Совестно страшно мне ее… как сказать? Это ужасно! Отказать неловко, – взволнованным шепотом продолжал он.

– Ну-с, так я теперь отправлюсь, – подмигнул лукаво Шмель Акиму, расшаркиваясь перед Бежецким. – К вам пришли, заниматься некогда будет. В другой раз зайду. Счастливо оставаться, Владимир Николаевич. Не хочу вам мешать. До свиданья.

– До свиданья! – машинально повторил Бежецкий.

Шмель быстро удалился.

Владимир Николаевич все продолжал стоять с совершенно растерянным видом.

– Как же быть, – думал он. – Вот положение… Она, впрочем, хорошая, простая, добрая… Разве покаяться во всем…

– Нет, не могу, – отогнал он эту мысль. – Ей больше чем кому-нибудь не могу… Презирать будет. Очень уж чистая у нее душа. Нет, слишком дорожу я ее мнением. Au nom du Dieu, что придумать! Нет, не выпутаться…

– Так как прикажете? – вывел его из нашедшего на него столбняка вопросом Аким.

– Что?

Владимир Николаевич оглянулся кругом.

– Хорошо, что Шмель ушел, – подумал он, – без него все лучше, а то бы и он заметил. Ужасное положение! И выхода нет. Повидаться-то с ней хотелось бы. Три дня не видал… Эх! Делать нечего, надо принять. Будь что будет!

– Проси! – кивнул он Акиму.

Тот быстро вышел.

IV. Артистка

Надежда Александровна Крюковская, таинственный доклад о приезде которой Акима так сильно взволновал Владимира Николаевича, была премьерша драматической труппы при театре «Общества поощрения искусств», в котором, кроме любителей, служили на жаловании и «заправские» артисты.

Среди последних талантом, красотой и молодостью выделялась Надежда Александровна, но это ее превосходство не возбуждало, против обыкновения, среди ее товарищей по сцене завистливого недоброжелательства: так умела эта еще почти совсем молоденькая девушка поставить себя в их разношерстной среде. Она относилась ко всем служившим с ней с сердечною теплотою, готова была всегда с подкупающей сердце искренностью придти на помощь нуждающемуся из товарищей, в каком бы ранге ни состоял он или она на сцене, и последние платили ей восторженным обожанием.

Это явление повторялось ежегодно, где бы не служила Крюковская.

Уже пять лет прошло с тех пор, как она в первый раз вступила на сценические подмостки. Четыре года провела она сезоны на провинциальных сценах и лишь первый год выступила в столице.

Вокруг нее сейчас же собрался многочисленный кружок поклонников, но вскоре все они должны были сознаться, что жестоко обманулись в своих надеждах, основанных на испытанной ими не раз легкости победы над «звездочками парусинового неба».

Эта звездочка оказалась для них чересчур далекой.

По происхождению Надежда Александровна была из богатой помещичьей семьи, получила строгое домашнее воспитание, оставившее в ней отпечаток неуловимой сдержанности и неподдельной женственности.

Какие причины заставили ее в таком юном возрасте покинуть родительский дом для сцены, куда она принесла недюжинный талант, чем в наше время не может похвастаться большинство не только любительниц, но и настоящих актрис, – это

было известно только ей одной.

Владимир Николаевич год тому назад, конечно, с восторгом принял ее на сцену театра вверенного ему общества и не замедлил начать усиленно за ней ухаживать.

Надежда Александровна, надо сказать правду, отличала его из толпы своих поклонников, но, увы! Такое платоническое отличие было далеко не в его вкусе.

Порой он даже замечал в ее добрых светлых, как лазурь неба, глазах мелькавший луч любви, но не этого жаждал этот мотылек от цветка, вокруг которого настойчиво порхал.

Видимая трудность победы сделала даже то, что Владимир Николаевич стал воображать, что в его сердце закралось серьезное чувство, и это-то и было главной причиной отказа, не высказанной им Шмелю при предложении последним выгодного сватовства.

Неосторожная, легкомысленная, совершенно согласная с его натурой растрата денег любимой, как ему по крайней мере казалось, женщины заставила его не видать ее в течение трех дней, и эта разлука еще более распалила его страсть, его желания.

Образ стройной, изящной Крюковской, с бледным, выразительным лицом, обрамленным роскошными пепельными волосами, настойчиво мелькал в его воображении, маня и вместе с тем дразня его своею недостижимостью.

И эта женщина здесь!

Какая-то неизъяснимая радость наряду с безотчетным страхом наполнили его сердце.

– Что с вами, Владимир Николаевич? Здравствуйте, – вывела его из задумчивости вошедшая Крюковская, скромно одетая вся в черное. – Чем больны? Я так беспокоилась за вас. Сегодня нарочно пораньше встала, чтобы до репетиции заехать. Не опасно были больны? Уж я думала, думала… что в голову не приходило.

Благодарю вас, Надежда Александровна, – отвечал он, сконфуженно опустив глаза, – ничего теперь. Немного простудился. Извините, что в халате. Прошу садиться.

– Полноте извиняться, – перебила его Крюковская, усаживаясь вместе с ним на турецкий диван. – Я рада, что вас здоровым вижу, а то Бог знает, что мне не представлялось.

Бежецкий растерянно молчал.

– Я очень к вам привыкла, только теперь поняла. Вас не вижу, точно чего-то недостает, – снова начала она.

– Спасибо вам за доброе слово…

– Тут не за что благодарить… это невольно.

Снова наступило молчание. Владимир Николаевич сидел, опустив голову.

– Что вы? Точно расстроены чем? – торопливо спросила она.

Он не ответил ни слова.

– Что с вами случилось? – с возрастающим беспокойством продолжала она. – Вы не больны, а у вас на душе что-то нехорошо. Я вижу. Отчего? Скажите мне. Не скрывайте. Вы знаете, как я близко принимаю к сердцу все, что до вас касается. Ведь я вам друг.

– Ах, какая пытка! – чуть слышно прошептал он.

– Что? Что вы сказали, я не расслышала? – задала она вопрос.

Бежецкий молчал.

– Вот видите, – покачала она головой, – я угадала, что что-то есть. Что-нибудь серьезное.

– Ах, Господи, – продолжала она в сильном волнении, – я так и ожидала. Догадалась по всему. Ваш растерянный вид, когда последний раз мы виделись, ваше молчание на мои письма. Да не мучьте же меня, скажите откровенно все. Я и так измучилась догадками все эти дни, не видя вас. Что такое, говорите, ради Бога.

– Какая вы добрая, хорошая, я не стою, чтобы вы так беспокоились обо мне, – проговорил Бежецкий, не поднимая глаз.

В голосе его слышались слезы.

– Стоите, или нет, это уже мое дело. А если вы считаете меня хорошей, как сейчас сказали, – доверьте мне ваше горе. У вас есть горе, не отпирайтесь… Я пойму… Все пойму и никому не скажу, не выдам вашу тайну…

– Ах, если бы вы знали, чего вы просите! Есть вещи, которые не только близкому человеку, – матери не скажешь… не посмеешь, – через силу произнес он.

Крюковская задумалась.

– Нет, друзьям надо все говорить. На душе легче будет, – заметила она после некоторого молчания.

– Верно… – начала было она снова, но остановилась, – денежные затруднения, – чуть слышно окончила она свою мысль.

Он упорно молчал.

– Или… – она с ужасом посмотрела на него.

– Да нет, что я! – Простите, что так допрашиваю. Я не имею права требовать доверия, если его нет…

– Не то, Надежда Александровна, не то, – с неизъяснимой мукой в голосе произнес он. – Если бы не доверял вам, не уважал бы вас, как лучшую женщину… нет, скажу правду не… любил бы вас, скорее сказал бы, легче бы было…

– Вы сейчас сказали такое слово, – встала она с дивана, – на которое я должна и хочу ответить откровенно.

Она задумалась.

– Если бы я тоже любила вас, тогда можно было бы все сказать? – задала она вопрос.

Он остался без ответа.

– А это так и есть, – в упор сказала она.

– Нет, этого не надо, – закрыл он лицо руками. – Я не стою вас… Вы не знаете, какой я…

Он не успел договорить. Она перебила его.

– Да разве можно любить и думать: стоит или нет? Это уж будет не любовь. Я люблю не так. Если любишь, так все простишь, все поймешь, без рассуждений, сердцем. Знайте это! Вот я вас люблю, вы мне то же сказали, так значит ничего не надо нам скрывать друг от друга. Если бы вы сделались разбойником, и то бы я вас не разлюбила. Страдала бы за вас, но не перестала бы любить и не бросила.

– Не стою я этого счастия. Проклятая совесть не дает…

Владимир Николаевич не договорил и вдруг неожиданно заплакал.

– Что это вы… о чем? – села с ним рядом Надежда Александровна. – Перестаньте, не мучьте себя, родной мой.

Она гладила его рукой по опущенной долу голове.

– Я как школьник перед вами, – сквозь слезы произнес он. – Мое наказание в моем унижении. Люблю вас и не смею поглядеть вам прямо в глаза. Стыдно, совесть мучает, грызет. Я перед вами гадость сделал. Простите ли вы мне?

Он схватил ее руки и стал покрывать их поцелуями, обливая слезами.

Она не отнимала их.

– Ваши деньги… начал было он.

– Не говорите об этом, – зажала она ему рот рукой, – не хочу я слышать вашего признания, видеть ваше унижение. Об этих деньгах никогда не спрошу. У вас мука в душе, я знаю, вам тяжело самому. Я все поняла. Вашу муку поняла, объяснила себе, оправдала и стало мне невыносимо жаль вас; хорошего, умного человека в вас жаль, нравственно страдающего. Так жаль вашей настоящей муки, что, кажется, за это я вас еще больше теперь люблю. Вы дороже, ближе мне стали. Облегчить вашу муку, утешить, успокоить хотела бы, примирить вас с вашей совестью и оправдать.

– Оправдать, но не простить! – печально произнес он, все продолжая целовать ее руки.

Она наклонилась и поцеловала его в голову. Он припал головою к ее плечу и обнял ее за талию.

– Дорогая моя! Прости, прости, ты добрая, светлая, любимая моя… Моя ведь? – поглядел он ей в глаза.

– Все прощаю, – нежно сказала она, обнимая его за шею, – надо забыть прошлое и в будущем новом, лучшем, надо стараться, чтобы ничего не напоминало. Ты был один, а теперь не один. Не скрывать ничего, а говорить правду. Какая бы она не была… Не стыдиться, знать, что тебя поймут… Теперь должно наступить другое… около тебя есть любящее существо, которое всю жизнь свою готово отдать, чтобы огородить, уберечь тебя от всего дурного… Себя отдать одной цели: чтобы жилось тебе лучше, легче, светлее…

Он порывисто, со страстью поцеловал ее.

– Чудная моя! Надя, любимая моя. Моя? Да? Будь женою моей, с тобой я чувствую, что буду другим человеком. Согласна? Дай мне это счастье! – умоляющим голосом произнес он.

– Да, твоя… но не жена, женою быть не хочу… боюсь, слишком скоро… Лучше после… Подождем. У тебя увлекающийся характер. Ты можешь разлюбить меня. Посмотрим, можешь ли ты быть счастлив со мною. Я тебя связывать браком не хочу. Свяжешься, не развяжешься со мной после венца. Я боюсь себя. Тогда я с собой не слажу. Не хорошо кончу. Ты ведь не знаешь меня. Я ведь горячая, безумная… и так ты должен быть уверен, что я люблю тебя, еще более уверен… повторяю, твоя, твоя…

Она в свою очередь обняла его и крепко поцеловала.

V. Без протекции

После описанных нами в предыдущих главах нашего рассказа событий незаметно прошел год однообразной в своем разнообразии петербургской жизни.

Владимир Николаевич с помощью Бориса Александровича Шмеля и искусно составленных им отчетов благополучно пережил общее собрание членов общества и вновь почти единогласно был избран председателем. Это уже отошло в область прошедшего и через несколько дней предстояло новое общее собрание, которое, впрочем, далеко не так, как прежнее, беспокоило Бежецкого. Наука Шмеля принесла свои плоды.

Надо еще заметить, что Владимир Николаевич, кроме пользующейся большим влиянием в обществе Надежды Александровны Крюковской, имел в настоящее время солидную поддержку в лице члена общества Исаака Соломоновича Когана, петербургского банкира и богача, и Нины Николаевны Дюшар, дамы аристократки, председательницы одного благотворительного общества, в котором Бежецкий состоял членом. Последняя была положительно околдована Владимиром Николаевичем и ради него записалась членом «общества поощрения искусств» и подбила на то же самое некоторых из своих знакомых.

Это упроченное положение барина отразилось и на расположении духа знакомого нам его «вернаго личарды» – Акима.

В описываемый нами день он благодушно беседовал, сидя за чайком в своей комнате около передней, с своей дражайшей половиной – Марьей Сильверстовной, старой женщиной, внушительного сложения, с ястребиным носом и таким же взглядом изжелта серых глаз и громадными руками, которыми она быстро вязала чулок и, казалось, не обращала ни малейшего внимания на разболтавшегося супруга.

Последний на это тоже, видимо, не обращал особенного внимания и продолжал начатую речь, взглянув на висевшие в комнате стенные часы.

– Еще всего двенадцать часов, а что у нас народищу перебывало. Слава те Господи, хоть Дюшарша за барином чай пить прислала, ну и сбурили всех. Рученьки разломало, отворяя дверь. Хоть часок другой теперь отдохну. Так на звонке и виснешь цельный день.

Он с наслаждением стал отхлебывать чай с блюдечка.

Супруга хранила невозмутимое молчание.

– А все же, неча греха таить, прибыльное место. Ноне, слава Богу, заработал детишкам на молочишко, а ино бывает, что и задаром все утро прошмыгаешь. С актеров взятки то гладки. Николи ничего не дадут, коли сам не попросишь. Ну а ежели, что им к барину понадобится – тогда мне доход.

– На пьянство, – съязвила супруга.

Он не обратил внимание даже на это ее замечание или же, быть может, не слыхал его.

– Это наша Надежда иной раз и сама сунет, – продолжал он. – Добрая, неча говорить… А ей не сдобровать! Шабаш, брат.

Он даже подмигнул углубившейся в вязание супруге.

– Белобрысая Дюшарша отобьет. Придет, так около барина по французскому и юлить. Да и дарит то то, то другое. Глянь-ка, в кабинет подушки какие навышивала. Но уж и барин наш хорош, неча сказать. Ветрогон такой! Страсть!

И как его хватает, и чего его мечет, – не разберу. Диво, право, диво. Деньгам один перевод, да и просвистится с бабьем. Горе!.. Но и то правда, место такое на виду, бабье и лезет. – Вот уж я тебя ни с кем не сменяю, ни в жисть. Ино выпьешь, ведь ты меня башмаком лупишь, а я все люблю. Ты бьешь, а я как у принцессы у тебя руки целую. Потому знаю, что любя бьешь.

В передней послышался звонок.

– Иди, седая сорока, отворяй, – оборвала любовные излияния мужа Марья Сильверстовна.

Звонок повторился опять.

– Ну, ну! Опять поехали… – заворчал Аким, направляясь к двери.

Нетерпеливой посетительницей оказалась очень полная, высокого роста пожилая дама с раскрашенным лицом, подведенными бровями, одетая в потертую суконную шубку с плюшевым воротником и в такой же шапке, покрытой шелковым белым платком сомнительной чистоты. В руках она держала большой радикюль.

Несмотря на заявление Акима, что барина нет дома, она силой вошла в переднюю, прошла приемную и достигла кабинета.

– Да говорят вам, дома нет, что вы лезете. Фу, ты. Господи, так и прет… Экая корпусная какая! – увещевал посетительницу Аким, стараясь заградить ей дорогу, но безуспешно.

Она как буря неслась далее.

– Врешь, врешь… вы всегда господам не докладываете, – раздражительно заговорила она на ходу.

Вошедши в кабинет, она оглянулась кругом.

– Должно быть, и в самом деле дома нет! – заметила она упавшим голосом.

– Ведь я же вам сказал, а вы все свое. Говорят, так нет, неймется! Приходите в другой раз, а теперь неча вам здесь делать. Отправляйтесь туда, откуда пришли… – с досадой отвечал Аким.

– Я и то уж на двух днях четыре раза была… Как же мне теперь быть?.. Что значит женщина без протекции… – всхлипывала она.

Аким молча продолжал указывать ей на дверь.

Она, между тем, как ни в чем не бывало внимательно осматривала комнату.

– Вот он где поживает-то, хоть на комнату председательскую погляжу… А вы у них лакеем, голубчик? – заискивающим голосом обратилась она к Акиму.

– Видите, чего же спрашиваете?

– А как вас зовут, голубчик?

– А вам на что?

– Да все лучше, в другой раз, по крайности, приду и буду знать.

– Акимом, – с досадой отвечал он, – только отвяжитесь. Да уходите теперь-то!

– Я немножко только отдохну, голубчик, – уселась она совершенно неожиданно для Акима в кресло, – позвольте, Акимушка, уж отдохнуть, а то пешком шла – устала. Я женщина одинокая, без протекции, лишнего на извозчика тратить не могу…

Аким посмотрел на нее высокомерно.

– Ну, пожалуй, отдохните, коли уж так устали. Позволяю, – с важностью разрешил он ей, усаживаясь в другое кресло.

Наступило молчание.

– Вы кто будете, – прервал ее Аким.

– Я-то? Я – артистка Анфиса Львовна Дудкина. Была из любительниц. Всех драматических любовниц играю; и Маргариту Готье в «Как живешь, так и прослывешь» играю, и Марьицу в «Каширской старине». Но могу и другие роли. Очень полезна быть могу на всех ролях. Как кого нет, так я всегда и заменю, голубчик, все роли играю.

– И мужчинские тоже? – усмехнулся Аким.

– Ах, нет, – обиделась Дудкина, – при моей-то комплекции. Хотя женщина я бедная, но до этого не доходила. В молодости разве пажей и мальчиков играла. А теперь нет. Вы надо мной не смейтесь. Ведь я еще и теперь молода и желаю почетное место в труппе занять. И заняла бы, да вот лет пять как протекции лишилась, а прежде за мной многие ухаживали.

– А какое жалованье получаете?

– Прежде и триста и двести получала, а теперь на семьдесят пять и пятьдесят в месяц даже пойду, лишь бы приняли, без места давно и за пятьдесят пойду, – заспешила она.

– Я бы и этого не дал, потому вид страшенный, больно толсты, – серьезно заметил Аким.

Дудкина заплакала.

– Почему это вы меня так низко цените? Обиду хотите сказать. Вот везде со мной так. Участь моя горькая такая. В людях сердца нет. Не все же тоненьким девчонкам да красавицам на сцене быть. Да мне со сцены больше двадцати лет никто и не дает, как корсет надену. Я играть гожусь. Еще как играю… Всей залой принимают, как иногда плакать начну… Чувство на сцене главное. Заплачешь – всех тронешь…

– Ну, на это, может, и годитесь, – глубокомысленно решил Аким, – вот и теперь, чего разрюнились?

– Да как же! Как вы обижаете. Чем бы помочь бедной женщине, а вы вот насмешки строите, – сквозь слезы продолжала она.

– Фу! ты… Барыня какая, уже и обиделась, – развел он руками. – Сказать ничего нельзя. Чего ревете то, чем я вам могу помочь. Ничем.

– Нет, можете, – встрепенулась Дудкина, отирая слезы. – Попросите барина хорошенько за меня. Окажите протекцию. Вы всегда при них состоите. Значит, знаете, в какую минуту сказать. А я бы вас, голубчик, за это уж поблагодарила.

– Это можно, отчего не сказать, сказать можно, – заметил Аким, важно разваливаясь в кресле и презрительно осматривая с головы до ног Анфису Львовну.

Та с мольбою смотрела на него.

– Да чего с вас взять? Какую благодарность? Чай, у самих ничего нет, – с расстановкой продолжал он.

– Нет, я могу, – снова заспешила она. – У меня есть. Голубчик, уж скажите только, а я вам за протекцию очень буду благодарна! Поблагодарю, будьте благодетель… Да вот!

Дудкина быстро встала, вынула из радикюля старый портмоне, а из него рублевую бумажку и подала ее Акиму.

– Возьмите себе за хлопоты, голубчик! А как устроите меня, то полумесячное жалованье вам отдам, честное слово! Только устройте. Сын у меня есть – плод любви несчастной, а кормить нечем. Подумайте, голубчик, об нас. Ведь без протекции теперь…

Аким взял рублевку и встал перед Анфисой Львовной.

– Постараемся… Отчего для доброго человека не постараться. Ну, что с вами делать! Хоша и трудновато к нему приступиться, да жалеючи вас, улучу его в духе и дам вам знать. Вы где живете-то?

– Голубчик, – начала кланяться перед ним Дудкина, – будь отец родной. Я только второй день как приехала и никого здесь не знаю. Без протекции. Вот тут актриса у меня есть знакомая, ее хочу отыскать, да не знаю, где живет, Надежда Александровна Крюковская, она-то мне поможет…

– Крюковская, – ухмыльнулся Аким. – Я и это могу вам объяснить.

– Неужели ее знаете? Вот отлично, что разговорились, – обрадовалась она.

– Знаем, как не знать… Даже близко знаем-с. Я вам и адрес дам, – важно заметил он.

– Спасибо вам, голубчик! Я к ней сейчас же пешком и пойду, а то вам отдала последние, уж на извозчика-то и нет. Недалеко живет?

– Тут недалече от нас помещается. Барин-то наш туды часто шастает, – таинственно сообщил он ей.

– Ах, ах… Это отлично; я его там и увижу… Спасибо, что рассказали, буду знать…

Звонок, раздавшийся в передней, прервал ее речь.

Аким пошел отворять, а Анфиса Львовна последовала за ним.

Звонивший оказался посланным от Крюковской с письмом к Бежецкому. Аким с этим же посланным отправил к Надежде Александровне Дудкину, рассыпавшуюся перед ним в благодарностях…

– Вот не чаял, не гадал, а на водку попало, – рассуждал он уже сам с собою, кладя принесенное письмо на барский письменный стол. – Те, что заработал, Марье отдал, а эту рублевку, нет, брат, шалишь, не отдам! Мои кровные, на штофик. Сегодня себе можно дозволить, потому что ни свет ни заря встал, все шмыгал. Бенефис себе по-ахтерскому устрою, такой – страсть. Душеньку отведу, выпью, право, выпью.

Аким даже вынул из кармана данную ему Дудкиной рублевую бумажку и любовно начал ее осматривать, вертя в руках.

Эту идиллию прервал раздавшийся снова в передней звонок.

– Ну, кого там еще нелегкая несет, – буркнул он себе под нос, пряча бумажку в карман.

Оказалось, что «нелегкая» принесла Владимира Николаевича и Нину Николаевну Дюшар, приказавшую Акиму вынуть из кареты и внести за ними в кабинет какой-то большой и тяжелый сверток.

VI. Благотворительница

Нина Николаевна Дюшар, о которой мы уже упомянули только вскользь и которую Аким в разговоре с своей женой назвал «белобрысой», была действительно сильно белокурая, худенькая дамочка, средних лет, скромно, но изящно одетая в шелковое темно-серое платье и такую же шляпку. Довольно высокого роста, стройная, она держала себя чопорно и отличалась какими-то неестественными, натянутыми манерами.

– Положите, пожалуйста, здесь, – указала она Акиму на диван, входя в кабинет вместе с Бежецким.

Аким бережно опустил сверток на диван.

– Спасибо.

Аким отошел от двери и стал у притолоки.

– Теперь можешь идти. Ступай и затвори дверь, – сказал ему Владимир Николаевич, снимая перчатки.

Аким удалился.

Нина Николаевна уселась на одно из кресел.

– Merci, merci, chere Нина Николаевна, – подошел к ней Бежецкий и поцеловал ее руку поверх перчатки.

– Ах, mon cher amie… Это так мало, не стоит… Я очень рада, что эта безделица вам нравится…

Она пересела на диван и, развернув сверток, вынула из него большие столовые бронзовые часы.

– N'est cepas que c'est genlil… – обратилась она к нему.

– Прелестно, – подтвердил он, взяв часы с дивана и ставя их на стол; – но я не понимаю, как это удалось мне на один билет выиграть такую прелесть.

– Не догадываетесь, – засмеялась Нина Николаевна, – как это случилось, а, между тем, это очень просто! Я употребила маленькую невинную хитрость. Мне давно хотелось вам подарить такие часы, я и выбрала их в магазине для первого выигрыша в нашей аллегри, а вчера приказала нашей Marie, помните барышню, что сидела у колеса, отметить сверточек с первым нумером красным карандашом. До вашего приезда аллегри не открывалась, а как вы приехали, я вам вынуть предложила свои услуги.

– Merci, merci, – подсел он к ней на диван и снова стал целовать ее руку.

– Женщина, когда захочет схитрить, всегда схитрит. Особенно для любимого человека. Надеюсь, вы за это на меня не посетуете. Этого никто не знает, никто, никто. Было бы очень досадно, если бы такая прелесть досталась кому-нибудь постороннему, cher Voldemar.

Она потрепала его по щеке. Бежецкий поймал ее руку и начал стягивать с нее перчатку, покрывая поцелуями. Она поцеловала его в лоб и склонилась к нему головой на плечо.

– Ах, – сентиментально начала она, – приличия света налагают на нас такие обязанности и оковы, что поневоле приходится хитрить.

Она томно вздохнула.

– Вот потому и приятнее иметь отношения с порядочной женщиной. Всегда лучше. Не может быть скандала. Соблюдено всегда приличие. Не рискуешь ничем. Сами свое положение и доброе имя берегут. Ну, а на меня в этом отношении всегда можно положиться. Я никогда не скомпрометирую женщину. Умею хранить, cher amie, чужие тайны.

Он неожиданно для нее поцеловал ее.

– Ах! – деланно вскрикнула она и отшатнулась от него.

Он снова привлек ее к себе.

– Я в этом уверена, – отвечала она. – Что ж делать, mon ange. Всякая из нас хочет жить, а свет так глуп, что не хочет этого понять. Никакой ни в чем свободы. Мне еще благотворительное общество дает возможность жить, как хочу. А то и к вам нельзя бы было ездить. Неприлично.

Она потупила глаза.

– Да, – вдруг переменила она тон, – что же мы главное-то было и забыли. Я привезла, что обещала. Вот тысяча рублей, которые вам нужны.

Она вынула из кармана пачку ассигнаций.

– Вчера литературный вечер дал три тысячи пятьсот… Я две показала в отчете в доход общества, а полторы на расход, стоил же вечер только пятьсот, конечно, моими заботами. Все артисты для меня участвовали даром. Ну, мне и можно было взять себе за труды тысячу рублей… Я так много хлопотала!.. Вот эта тысяча рублей, возьмите. Вам нужно было, отдадите, mon cher, когда будут. Да что между нами за счеты? Этого никто не узнает…

– Нет, Нина Николаевна, я этих денег не возьму… – с расстановкой проговорил он, отстраняя рукой деньги и задумываясь.

– Что! Почему?.. Ведь вам нужны были… Не обижайте меня… Не отказывайтесь… – заволновалась Нина Николаевна.

– Неловко мне их взять… – заметил он сквозь зубы.

– Это почему?.. – с недоумением уставилась на него она. – Ах, mon Dien. Напрасно я с вами была откровенна, вы меня этим оскорбляете. Ведь никто не будет знать этого! Неужели, если порядочная женщина вам доверилась, вы позволите себе ее третировать. О, ciel!.. Нет, берите, берите… Ну, если так вам совестно взять, дайте мне расписку. Вы всегда так надоедливы с вашей щепетильностью…

Она нежно улыбнулась и поцеловала его в лоб.

– Противный… но милый… так берите же…

Она хотела сунуть их ему за борт сюртука, но он отстранился.

– В таком случае я так оставлю, – встала она и бросила их на письменный стол. Никто не будет знать! – повторила Нина Николаевна.

Он задумчиво глядел на нее и молчал.

– А теперь мне пора, – вынула она крошечные золотые часики, – меня ждут. Ах, как досадно, что всегда так мало мне приходится быть с вами вдвоем. До свидания, заезжайте ко мне скорее.

Он молча поцеловал ее руку, проводил до передней и медленной походкой возвратился в кабинет.

VII. Рассудил

Взгляд его упал на оставленные Ниной Николаевной на его письменном столе деньги.

– Черт знает, что за положение, – развел он руками. – Не брать – неловко и взять неловко, а необходимо нужно взять. Иначе, иначе дело дрянь. Или взять… Ужасно неприятно.

Он задумался.

– Эх! Все равно… Надо взять…

Он взял со стола деньги и вдруг весело засмеялся.

Мысль его перенеслась на Дюшар.

– Неугодно ли, какой экземпляр. Потеха, да и только, но как мне везет в нынешнем году. Черт знает, что такое. От женщин отбою нет. А ведь что во мне особенного?

Владимир Николаевич подошел к зеркалу и стал себя осматривать с головы до ног.

– Не знаю, право. Что их прельщает, – продолжал он далее свои соображения. – Ну, умен, талантлив, говорят. Собой я не особенно уж красив. Такой же, как и все, а ведь вот другим такого счастья нет. Как любить! Все для меня отдать готовы: и деньги, и души, – самодовольно продолжал он.

Он снова поглядел на себя в зеркало.

– Вероятно, во мне есть что-нибудь такое притягательное. Гм! Да! Осанка есть… Уверенность в себе и всегда веселый вид.

Приятные манеры

И всегда веселый взгляд.

Шико, шико, шико,

Это все мне говорят!

– запел Бежецкий и отошел от зеркала. – Однако шутки в сторону, – остановил он сам себя. – Чтобы я стал делать, если бы не Нинка. Положим, не совсем красиво деньги достала. Я даже не хотел брать – противно было, а потом подумал, во-первых, не я их у общества взял, а она; теперь, значит, они ее, что же брезговать: к ним ничего не пристало, деньги, как деньги, обыкновенные. А

потом думаю, что все равно она промотает на украшение шалами своей гостиной, или на сладкие пироги и чаи для гостей, которые у ней по целым дням так с утра до вечера все чай и пьют, кто хочет приходи. Значит, все равно прахом пойдут, а меня они спасают от беды. Человека спасают, а не на прихоть идут. Все-таки для них благороднее.

Бежецкий захохотал и бережно положил деньги в карман.

– Так что в сущности она должна мне быть благодарна, что я взял эти деньги. Я ее поступок облагородил.

Ему пришло в голову, что это очень похоже на философию Шмеля, и он поморщился.

Вспомнив Бориса Александровича, он вспомнил и о делах вверенного ему общества.

– Да… В нынешнем году я стал поопытнее. В прошлом перед общим собранием заблаговременно не запасся деньгами, спустил и свои, и общественные, и не помоги Шмель с отчетами, да Крюковская, тогда же был бы мне крах. Ух, как было жутко. А теперь, через три дня заседание, надо подавать отчеты, а у меня уж сегодня все деньги в сборе. Да-с! Теперь меня Величковскому спутать не придется. Крепко сижу, сам черт не брат. Все общество передо мной на задних лапках ходит. Чествуют меня и уважают.

Владимир Николаевич самодовольно улыбнулся.

Вдруг взгляд его снова упал на письменный стол. Он заметил на нем письмо и взял его.

– Письмо от Крюковской! Эта скотина никогда не доложит. Вот и еще экземпляр! Ну, эта, положим, не чета другим, ее ни с кем сравнить нельзя. Остальные так… веселее живется, а эта…

Он не окончил своей мысли, распечатал письмо и углубился в чтение, усевшись перед столом.

Крюковская уведомляла его, что приедет к нему, и просила быть дома.
Бежецкий бросил письмо на Стол и задумался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/geynce_nikolay/scena-i-zhizn

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити